

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

### Накануне 17 октября.

\*Еще когда я приехал из Америки в Париж, мне Л. Н. Нарышкина, вдова Эммануила Дмитриевича и сестра известного Бориса Николаевича Чичерина, с особою радостью передала, что последовал указ об автономии университетов, что ректором московского университета избран князь Трубецкой, что вследствие сего все высшие учебные заведения открылись, студенты начали заниматься и что потому можно ожидать водворения спокойствия.

Высшие учебные заведения «забастовали» и в последнее полугодие были закрыты. Я отнесся скептически к таким надеждам. Мне было ясно, что, с одной стороны, автономия высших учебных заведений не могла быть дана правительством, в сущности говоря—Треповым, без принудительных к тому полицейско-административных причин, так как смысл существования автономии высших учебных заведений, как меры просвещения, не мог быть доступен ни Трепову, ни тогдашнему министру народного просвещения Глазову. С другой стороны, дарование автономии указом без переработки уставов университетов и высших учебных заведений должно было вызвать целый ряд недоразумений.

До моего отъезда в Америку в комитете министров обсуждался вопрос о положении сказанных заведений, и тогда я настаивал на необходимости органической переработки уставов и в этом видел возможность успокоения профессуры и студентов и слышался по этому поводу от Трепова и Глазова самых невежественных мнений. Вообще большинство членов высших государственных учреждений были или военные или кончившие курс в привилегированных высших учебных заведениях (царскосельский лицей и училище правоведения), мало были знакомы с университетской жизнью, а потому даже просвещенные члены высказывали по вопросу об организации университетов малокомпетент-

ные мнения, ну, а о большинстве военных и говорить нечего. Я знал, что ничего до моего выезда в смысле разработки уставов сделано не было, значит, принятая мера была не органическая, а вытекала из соображений полицейско-административных, а так как выходила из рук, не имеющих понятия об университетской жизни, то наверное и не предвидела всех последствий дарованной неопределенной автономии.

Действительно, оказалось, что мера эта последовала по инициативе Трепова и обсуждалась в совещании, в котором он доминировал и в котором участвовали генерал Глазов, министр финансов Коковцов (лицеист) и министр земледелия Шванебах (правовед). Когда же я прочел указ, то увидел всю его неопределенность и оторванность от действительного положения вещей, созданного в последние 15—20 лет со времени издания нового университетского устава (кажется, в 84-м году).

Приехавши же в Петербург, я узнал из газет, что все высшие учебные заведения после указа об автономии сделались местом ежедневных революционных митингов, в которых участвуют как студенты, так еще в большей степени рабочие настоящие или подложные, учителя, чиновники, лица в военных мундирах, в том числе нижние чины, курсистки, дамы, а также публика, даже из высшего общества, которая приходила дивиться таким необычным представлениям и энервироваться, т.-е. получать особые психические ощущения, подобные тем, которые ощущаются от шампанского, боя быков, скабрезного представления и пр.

На митингах этих проповедывались самые крайние революционные идеи анархизма и боевого социализма. Речи ораторов прерывались криками «долой самодержавие» и самыми возмутительными словами относительно главы государства и царствующего дома, т.-е. такие речи, которые были бы заглушены, если не публикою, то полицейскою силою не только в монархических странах, но также в буржуазной французской республике, в демократической американской республике и даже в республике с президентом князем Кропоткиным и министрами Алексинским (недоучка-студент, член второй Думы), Аладьиным (русский комиссионер в одной из лондонских гостинниц, член первой Думы), присяжным поверенным Винавером (член первой Думы) и подобными индивидуумами-дилетантами, все из клики русских республиканцев-революционеров.

Ни Трепов, ни вообще члены правительства на эти явления не реагировали, а только иногда выставляли около университетов войска, чтобы огонь в зданиях высших учебных заведений не перебросился на улицы. Университетское начальство и профессора заявляли, что, конечно, то, что происходит в высших учебных заведениях, ненормально, но виною этому то, что пра-

вительство не позволяет гражданам законно собираться и устраивать митинги, как это существует во всех цивилизованных странах, а потому, по их мнению, естественно, что граждане собираются в высших учебных заведениях для этой потребности. Разрешите устраивать митинги в других местах,—говорили профессора,—мы тогда будем в состоянии оградить университеты от посторонней публики. Студенты почти всех высших учебных заведений на сходках провозгласили, что они прекращают «забастовку», но не для того, чтобы заниматься науками, а для того, чтобы использовать «автономию» для революционных целей. Профессора, в руки коих, после указа об автономии, всецело перешли высшие учебные заведения, на указание правительства, что митинги, происходящие в сих заведениях, недопустимы, все-таки повторяли, что, конечно, это беспорядок, но что они с своей стороны ничего сделать не могут к прекращению этого беспорядка, так как это происходит от того, что нигде не дозволяется собираться для обсуждения всех волнующих общество вопросов. Студенты заявляют,—говорили профессора,—что они считают своим долгом делиться с обществом тою привилегиею, которую только они одни из всех русских граждан получили. Университетское начальство настаивало, что единственное средство прекратить митинги в университетах—это, дозволить устраивать их вне высших учебных заведений.

Таким образом указ об автономии университетов, последовавший в августе месяце, был первою брешью, через которую революция, созревшая в подполье, выступила наружу. Вероятно, мысль о том, что устраивать безобразные митинги можно только посредством издания закона о собраниях, была принята правительством, так как по приезде моем в Петербург я получил приглашение председателя совещания (или совета) графа Сольского пожаловать на заседание совещания по вопросам об издании закона о собраниях. Явившись в заседание, я узнал, что закон уже проектирован совещанием и только обсуждались некоторые разногласия по этому закону. Я с своей стороны заявил, что в настоящее время едва ли закон в той ограничительной конструкции, в какой он был проектирован, может отвлечь публику от митингов в высших учебных заведениях, так как митинги происходят при такой дикой свободе, что едва ли публика без строгого принуждения пожелает пользоваться новым весьма ограничительным законом; что во всяком случае, если хотели издавать указ о неопределенной автономии университетов, то следовало ранее издать сказанный закон. Через несколько дней закон был издан указом помимо Государственного Совета, но остался мертвою буквою,—митинги самые бурные и дикие продолжали производиться в залах учебных заведений и иногда в залах различных научных обществ (в Соляном городке—техническое общество, в Вольно-



экономическом обществе). И это продолжалось до тех пор, пока не начались еще до 17-го октября забастовки, и когда, вследствие этих забастовок, большинство высших учебных заведений закрылись.

Во время моего пребывания в Америке, возбуждился также вопрос об единении министров, т.-е. об образовании чего-то вроде кабинета министров. Вопрос этот также обсуждался в совещании графа Сольского; я застал его обсуждение в начале. За необходимость внести единство в действия министров высказались почти все члены совещания; против этой меры особенно ратовал министр финансов Коковцов. Так как по проекту предполагалось создать должность председателя (главу) министерства и так как Коковцов понимал, что он им не будет, то по узкому самолюбивому чувству, так свойственному этому мелкому человеку, он всячески старался похоронить проект об единстве министерства. Коковцова поддерживали и другие члены не в смысле отрицания общей идеи, а только по частностям, дабы уменьшить значение председателя (главы) кабинета, проводя ту мысль, что, будто бы, такая мера может умалить значение императора в глазах народа. В конце концов, было решено создать совет министров взамен существовавшего по закону, изданному в царствование Александра II, совета, председателем коего был сам император и председательство в коем, вопреки закону, государь Николай II передал графу Сольскому. Этот новый закон, выработанный и утвержденный государем до 17 октября, в некоторой степени объединяет министерство, хотя как все, что выходило из совещаний графа Сольского, являл различные неопределенности и недосказанности, как результат компромиссов, которые так любил граф, дабы не утруждать его величество разногласиями.

Сольский назвал новое учреждение советом министров вместо кабинета, дабы избежать мысли о западных конституциях. Первым председателем совета был назначен я, а так как ранее также существовал совет, то затем все, что делал прежний совет ранее, так, например, Булыгинский закон о Думе, также приписывалось мне.

До сих пор большинство публики не делает различия между прежним советом, который иногда годами не собирался, и теперешним, созданным в начале октября 1905 г., за несколько дней до 17 октября.

Я имею основание думать, что созданию нового совета министров и уничтожению старого отчасти способствовало то, что граф Сольский, видя, что волнения все растут и растут и буря неизбежна, пожелал спрятаться и уйти от ответственной роли

председателя совета вместо государя. Это и было понятно и извинительно, так как граф уже многие годы был совершенно болен, не мог ходить, и можно было только удивляться, как он решается на такую ответственную деятельность, которая вытекала из того, что он был и председателем Государственного Совета, и председателем финансового комитета, и председателем совета вместо государя, и председателем всяких совещаний.

При его мягкости характера, полного болезненного состояния в последние годы, он, понятно, находился под сильным влиянием секретарей и делопроизводителей.

Вернувшись в Россию, меня также поразила необузданность прессы при существовании самого реакционного цензурного устава.

Пресса начала разнуздываться еще со времени войны; по мере наших поражений на востоке, пресса все смелела и смелела. В последние же месяцы, еще до 17 октября, она совсем разнуздалась, и не только либеральная, но и консервативная. Вся пресса обратилась в революционную, в том или другом направлении, но с тождественным мотивом—«долой подлое и бездарное правительство, или бюрократию, или существующий режим, доведший Россию до такого позора». Петербургская пресса, дававшая, и поныне, хотя в меньшей степени, дающая тон всей прессе России, совершенно эмансипировалась от цензуры и составила союз, обязавшийся не подчиняться цензурным требованиям. В этом союзе участвовали почти все газеты, и в том числе консервативные, а также «Новое Время», которое затем забыло это обстоятельство, и, когда вспыхнула революция, в мое министерство подавленная, то оно, видя, что правительство одолело, первое начало кричать о слабости правительства и распущенности прессы. Когда газеты вышли в силу «захватного права» из-под цензуры, то от них сделалось известным публике, что в последний год образовался ряд союзов—союз инженеров, адвокатов, учителей, академический (профессоров), фармацевтов, крестьянский, железнодорожных служащих, техников, фабрикантов, рабочих и проч. и, наконец, союз союзов, объединивший многие из этих частных союзов. О решениях и действиях некоторых союзов, например, академического, газеты давали полные сведения, о других отрывчатые, а о некоторых только сообщалось, что такой-то союз собирался там-то и принял важные решения и т. п.

Конечно, продолжал действовать и союз представителей земских и городских деятелей, с постоянно действующим бюро, в котором принимали участие столпы так называемых «обще-

ственных деятелей», из которых многие ныне после прелести революции сделались правыми.

В этих союзах принимали живое участие Гучков, Львов, князь Голицын, Красовский, Шипов, Стаховичи, граф Гейден и проч., и проч. К этому союзу присоединились и тайные республиканцы, люди большого таланта пера и слова и наивные политики: Гессен, Милюков, Гредескул, Набоков, академик Шахматов и проч., и проч. Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче — свалить существующий режим во что бы то ни стало, и для сего многие из этих союзов признали в своей тактике, что цель оправдывает средства, а потому для достижения поставленной цели не брезгали никакими приемами, в особенности же заведомою ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем изолгалась, и левая так же, как правая; а когда вспыхнула революция и началась анархия, то правая пресса: «Новое Время» (Суворин, Меншиков), «Русское Знамя» (Дубровин, Булацель), «Московские Ведомости» (Грингмут, из еврейских ренегатов), «Вече» (Иловайский и какой-то каторжник Оловянников) и даже «Киевлянин» (Пижно) и проч., в смысле небрезгания для преследуемых целей, начала распространять ложь, клевету, обман, пожалуй, превзошла левую прессу.

Правительство, т.-е. Трепов, так как в сущности он был диктатор, на все эти явления не реагировал или реагировал неуспешно. Вероятно, о многих союзах, их деятельности и преследуемых ими целях, он не имел и надлежащих сведений. Железнодорожный союз, который затем привел железные дороги к забастовке, всячески защищал князь Хилков (это мне говорил Трепов), уверяя, что этот союз преследует чисто экономические и бытовые интересы железнодорожного персонала и не имеет антиправительственных стремлений.

Кроме открытой прессы, миллионами экземпляров распространялась скрытая пресса — всевозможные революционные листки, прокламации, программы, и в этой нелегальной прессе в некоторой степени принимало участие охранное отделение департамента полиции.

Трепов не мог отстать от идеи Зубатова «клин клином вышибай», т.-е. борись с революцией ее же орудиями и приемами. Министр внутренних дел Булыгин пребывал в полной апатии, так как, в сущности, управлял не он, а Трепов. Трепов же совершенно сбился с панталыку, дергал то направо, то налево, и, предвидя бурю, а отчасти по нездоровью, мечтал, как ему уйти из непонятного для него хаоса. Он мне говорил, что выбился из сил, и оставаться более на им же созданном для себя посту



товарища министра внутренних дел, а в сущности, диктатора, не может. Мудрый старец, скептик К. П. Победоносцев, совсем удалился от явного влияния на дела; что же он писал государю и писал ли вообще, мне неизвестно.

Остальные министры, бесцветные чиновники, Коковцов, Шванебах, генерал Глазов, генерал Редигер, сидели спокойно и молчали. Впрочем, Шванебах внес в комитет министров проект о раздаче в Сибири земли манчжурской армии. Мысль эта истекала из опасения, что армия, возвратившись домой после всех неудач, пожалуй, пристанет к революции, и тогда уже наверное все пропало.

В балтийских губерниях революция выскочила наружу несколько ранее; представители балтийского дворянства, очень сильные при дворе, генерал-адъютант Рихтер, главноуправляющий комиссией прошений Будберг—все говорили о необходимости установить в этом крае генерал-губернаторство; уже в Митаве и в южных уездах, к ней прилегающих, было почти вроде военного положения, там действовали войска виленского округа, и тамошнего командующего войсками Фрезе обвиняли в нерешительности и потворстве евреям и полякам. В скором времени его сменили, назначив членом Государственного Совета.

На Кавказе целые уезды и города находились в полном восстании, происходили ежедневные убийства, наместник граф Воронцов-Дашков проводил политику «доброжелательства», выражающуюся в постоянной смене либеральнейших и реакционных мер, то та, то другая местность объявлялась на военном положении чрезвычайной охраны, то эта мера опять отменялась. Вообще, граф, хотя, несомненно, умный, благожелательный и хороший человек, но всегда главный его недостаток заключается в самом невозможном подборе сотрудников.

В юго-западном крае генерал-губернатор Клейгельс бастовал, а когда наступили октябрьские дни, то совсем удалился. Клейгельс, пренедалекий человек, был в Петербурге градоначальником и полюбился государю, вероятно, за свою наружность бравого кавалериста и своим наружным спокойствием. Впрочем, как полициймейстер Клейгельс был на своем месте, когда же государь его назначил в Киев генерал-губернатором, то все, которые еще не перестали удивляться творящемуся, были очень удивлены этому назначению.

В Москву после убийства великого князя Сергея Александровича был назначен генерал-губернатором бывший там когда-то обер-полициймейстером генерал Козлов, человек весьма порядочный, всеми уважаемый в Москве, но он не поладил с Треповым и ушел. Вместо него был назначен, кажется, по протек-

ции Сольских,—Дурново, так называемый Пе Пе, попавший ранее того в Государственный Совет по представлению Сольского. Дурново—генерал, весьма богатый человек, бывший недавно председателем петербургской городской думы, смесь либерализма и дворянского «моему нраву не препятствуй», совершенно неспособный к какому бы то ни было серьезному делу. Он совсем в Москве запутался, ничего не знал, что там делалось, в конце концов так растерялся, что выходил в генерал-адъютантском мундире на площадь для переговоров с революционной толпой с красными флагами и снимал при этом военную шапку.

Царство Польское находилось почти в открытом восстании, но революция держалась внутри, только в некоторых местностях прорывалась наружу, потому что там была сравнительно значительная военная сила и был, хотя не орел, но прямой и мужественный генерал-губернатор Скалон, только что назначенный на этот пост. Его предместник, генерал Максимович, человек ничтожный, назначенный туда по протекции министра двора барона Фредерикса, был смещен, потому что забастовал и удалился на дачу около Варшавы, откуда не выезжал. Максимович, бывший офицер конной гвардии; товарищ барона Фредерикса, оказал ему, Фредериксу, услугу при его женитьбе, считавшейся мезальянсом, а потому потом и получил место варшавского генерал-губернатора.

Вся Сибирь находилась в полной смуте; отчасти и, пожалуй, главным образом, это происходило от того, что Сибирь уже спокон века и до настоящего времени представляет собою резервуар для ссылки беспокойных и порочных людей, а также от того, что Сибирь, как окраина, находившаяся ближе к театру военных действий, более чувствовала весь позор войны и имела больше о ней сведений, так как все для войны и обратно провозилось через Сибирь. Отчасти же смуте содействовало назначение в Иркутск генерал-губернатором графа Кутайсова, неглупого человека, но бесконечно болтливого и несерьезного деятеля.

Этому назначению все очень удивлялись; как говорят, Кутайсов был назначен по желанию императрицы Александры Федоровны, которая, будучи еще девицей и гостя у своей бабушки, королевы Виктории, познакомилась с Кутайсовым, который тогда состоял нашим военным агентом в Лондоне.

В Омске генерал-губернатором был Сухотин, человек твердый, прямой и умный, только несколько скоропалительный, в особенности после завтрака и обеда. Между Сухотиным и Кутайсовым были вечные несогласия, которые вели к подрыву власти, центральное же правительство бездействовало, во всяком случае, мало действовало.



Одесса также была совершенно революционизирована, потому что большинство ее жителей—евреи, которые, вследствие постоянных стеснений, полагали, что, пользуясь общесомаutoхою и падением престижа власти, они добудут себе равноправие путем революционным. Конечно, это относится не ко всем евреям; действующими всегда является сравнительное меньшинство, но большинство евреев, выведенное из терпения несправедливостями, сочувствовали так называемому освободительному движению, легко принимавшему все (до самых резких включительно) революционные приемы. Такому революционированию Одессы к тому же очень способствовал тогдашний градоначальник Нейдгардт (*beau frère* Столыпина), человек неглупый, но крайне легкомысленный, поверхностный и мало знающий, но пребывающий о себе высокого мнения, надменный и с подчиненными грубый. Большинство жителей города его ненавидело. Там в начале октября явились беспорядки, связанные с кровавыми жертвами <sup>1)</sup>).

После 17 октября я должен был его сменить, через что в нем и его сестре, супруге нынешнего премьера Столыпина, я нажил себе врагов. Нейдгардт был назначен в Одессу градоначальником только потому, что был забавным офицером Преображенского полка тогда, когда там служил его величество, будучи наследником. Ни по своему образованию, ни по службе никакой подготовки к занятию такого важного поста, как одесский градоначальник, он не имел. По той же причине, по которой он был назначен градоначальником, теперь он назначен сенатором.

Таким образом вернувшись из Америки 16 сентября 1907 г., я застал Россию в полном волнении, при чем революция из подполья начинала всюду вырываться наружу; правительство потеряло силу действия, все или бездействовало или шло врознь, а авторитет действующего режима и его верховного носителя был совершенно затоптан. Смута увеличивалась не по дням, а по часам, революция все грознее и грознее выскакивала на улицу, она завлекала все классы населения. Весь высший класс был недоволен и ожесточен; вся молодежь, и не только университетская, но и высших классов средних учебных заведений, не признавала никаких авторитетов, кроме тех, которые проповедывали самые крайние революционные и антигосударственные теории; профессора в громадной части стали против правительства и действующего режима и авторитетно, не только для молодежи, но и для большинства взрослых провозгласили «довольно—нужно

<sup>1)</sup> Дело это затем исследовал сенатор Кузьминский и признал главным виновником Нейдгардта, который потом был прикрыт его величеством.

все перевернуть»; земские и городские деятели уже давно заявили «спасение лишь в конституции»; торгово-промышленный класс, богатые люди, стали на сторону земцев, городских деятелей и профессуры и некоторые из них (Морозов, Четвериков, вдова Терещенко) производили большие денежные пожертвования не только для поддержки освободительного движения, но прямо на революцию (Савва Морозов, засим застрелившийся за границей); рабочие совершенно подпали под руководство революционеров и действовали наиболее активно там, где нужно было действие физическое; все инородцы, а ведь в Российской империи инородцев около 35% всего населения, видя столь сильное расслабление империи, подняли головы и решили, что настал момент проводить свои мечты и желания: поляки—«автономию», евреи—«равноправие», и проч., а все—устранение всех стеснений, в которых проходила вся их жизнь, а стеснения эти во многих случаях были безобразные, антихристианские, грубые и, что особенно непростительно, часто глупые; крестьяне подняли усиленно вопрос о безземелии и вообще об их утесненном положении; чиновники, видя близко многие порядки в канцеляриях и систему протекций, развитую в царствование Николая II до гигантских размеров, стали против режима, которому служили; войско было взволновано всеми позорными неудачами войны и винило во всем совершенно основательно правительство, но, кроме того, с заключением мира явилось особое обстоятельство, внесшее большую смуту в войска, особенно оставшиеся в России: с заключением мира по закону нужно было отпустить всех, призванных на время войны, но так как в России войск оставалось очень мало, то их не отпускали, они начали волноваться, через это революционеры нашли легкий доступ в войска, в войсках начались вспышки непослушания, в некоторых случаях маленькие выступления в пользу революции с оружием в руках, поэтому многие думали, что на войска рассчитывать нельзя, и боялись возвращения армии с востока.

Эта боязнь и вызвала проект Шванебаха оставить, по крайней мере, часть армии в Сибири и во всяком случае задобрить их, объявив для них особую привилегию на получение сибирских земель...

Можно без всякого преувеличения сказать, что вся Россия пришла в смуту и что общий лозунг заключался в крике души «так дальше жить нельзя», другими словами, с существующим режимом нужно покончить. А для того, чтобы с ним покончить, явились борцы действия и мысли во всех без исключения классах населения и не единичные, а исчисляемые многими тысячами. Большинство же, не двигаясь, совершенно сочувствовало действующим. Все объединились в ненависти к существующему режиму и только тогда, когда был не только поставлен, но и факти-

чески проведен вопрос, чем ненавистное будет заменено (17 октября), было разрушено единение ненависти к существующему; явились партии, которые пожелали каждая перекроить управление по-своему и затем—ожесточенная борьба этих партий, происходящая доньше. 17 октября разрушило единение чувства ненависти к существующему, разбило борьбу, направленную лишь на «существующий режим», на борьбу и ненавистничество партийное.

Со дня моего возвращения из Америки я ясно видел, что смута растет и не по дням, а по часам, все усиливаясь и усиливаясь.

В конце сентября и начале октября она начала бить наружу фонтаном. Не говоря об окраинах, революция вырывалась наружу всюду. Под моим руководством, в бытность мою председателем совета, составлена одним чиновником рукопись под названием: «Накануне 17 октября»,—она находится в моем архиве.

Начались усиленные забастовки почти во всех фабричных районах, затем забастовали железные дороги. Наивный князь Хилков, начавший свою карьеру машинистом железной дороги, человек очень хороший, но рамоли (вообще, ему было бы уместнее оставаться железнодорожным служащим, нежели быть министром), пробрался в Москву, дабы там урезонить машинистов, так как центр, руководящий железнодорожными забастовками, была Москва. Он сам сел на паровоз и хотел повлечь за собою машинистов, но последние насмеялись над его наивностью. Одним словом, в России наступил полный хаос. Будучи в то время простым наблюдателем, я не располагаю сведениями о всех тех смутах, связанных с пролитием крови, которые в течение второй половины сентября и первой половины октября 1907 г. происходили в России, но ими были исчерпаны страницы всех газет. В особенности же происходил полный хаос в суждениях газет и действиях правительства, которое в значительной своей части забастовало, а в другой кидалось из стороны в сторону; это последнее, главным образом, относится к генералу Трепову—диктатору, первому доверенному его величества. Как житель Петербурга, я могу более точно рассказать, что происходило в Петербурге. Фабрики были закрыты, и рабочие проводили время в митингах, а затем, в хождениях по улицам; к массе рабочей примкнули, конечно, и так называемые хулиганы.

Высшие учебные заведения сначала служили местом революционных митингов, а потом они закрылись, и большая часть студенчества проводила время так же, как и рабочие. Печать вышла из всякого надзора и законопочитания. Городские железные дороги забастовали, вообще, движение по улицам в экипажах почти прекратилось, прекратилось также освещение улиц, жители столицы вечером боялись выходить на улицу, прекраща-



лось и водоснабжение, телефонная сеть бездействовала, забастовали все железные дороги, доходящие до Петербурга. Государь с августейшим семейством находился в Петергофе и сообщение с ним производилось только на казенных пароходах. Деятельность и нахальство противоправительственной власти росли ежедневно, всякие союзы и союз союзов ежедневно изрекали резолюции, все клонившиеся к подрыву власти и уничтожению существующего режима. Революционная пропаганда деятельно проникала в войска и находила адептов в отпускных, которые требовали, чтобы их отпустили. В некоторых воинских частях происходили беспорядки, моряки совсем вышли из повиновения, постоянно проявлялись бунты в черноморском флоте (история с броненосцем «Потемкиным», бывшая еще несколько месяцев ранее, просто баснословна). В Петербурге, морской экипаж, помещавшийся в казармах рядом с конной гвардией, взбунтовался и ночью пришлось его посредством военной силы арестовать и на баржах переправить в Кронштадт. В Кронштадте также было неблагополучно: моряки постоянно производили смуту и проч.

Самым главным и опасным было то, что вся Россия была недовольна существующим положением вещей, т.-е. правительством и действующим режимом. Все более или менее сознательно, а кто и не сознательно, требовали перемен, встряски, искупления всех тех грехов, которые привели к безумнейшей, позорнейшей войне, ослабившей Россию на десятки лет. Никто и нигде искренно не высказывался в защиту или оправдание правительства и существующего режима; разница была лишь та, что одни винили его за одно, а другие за совершенно противоположное. Одни указывали, как на виновных, на одних лиц, а другие на других. Самые крайние реакционеры до сих пор больше всех нападают на правительство и только в бесконечной своей подлости отделяют правительство от монарха, и то, когда говорят не между собою, а в открытую. Когда же они говорят в своей среде, многие из них хуже революционеров поносили государя императора и даже доходили до того, что строили глупейшие и подлейшие планы о возведении на престол других лиц, например, великого князя Дмитрия Павловича с регентшей великой княгиней Елизаветой Феодоровной, вдовой великого князя Сергея Александровича. Некоторые из кадет желали видеть, если не на престоле, то в качестве президента республики, кадета князя Долгорукова, а некоторые черносотенцы не стеснялись в своем кружке выражать желание видеть на престоле тупоумную дубину, князя Щербатова. Конечно, все это из области анекдотов революции, умов без ума.

Многие, как прежде, так и теперь не понимают, что сила царя, как и всякого монарха, в своего рода таинстве—секрете, недоступном познанию людей, наследии—наследственности. В наследии царской власти заключается сила царя. Никто ближе не знает Николая II, как царя, никто лучше меня не знает его пороки и слабости, как государя, но, тем не менее, я по убеждению, как перед богом, говорю, что не дай господь, если что-либо с ним случится. Любя Россию, я ежедневно молю бога о благополучии императора Николая Александровича, ибо покуда Россия не найдет себе мирную пристань в мировой жизни, покуда все расшатано, она держится только тем, что Николай II есть наследственный законный наш царь, т.-е. царь милостью божьей, иначе говоря, природный наш царь. В этом его сила и в этой силе дай бог, чтобы Россия скорее нашла свое равновесие. Покуда правительство есть правительство государя, т.-е. покуда государь был неограниченный, покуда он, как теперь, будет самодержавный и в России не будет парламентаризма, нападающие не на отдельные личные действия министров, а на их государственную деятельность, нападают тем самым на императора. У нас же, к сожалению, часто самые крупные события происходили прямо по воле и действиям императора, даже помимо министров. Самая война, открывшая брешь всей смуте и революции, произошла не по воле и желанию министров, а вопреки их воле и желаниям. Войны никогда бы не было, если бы император не сделал все, чтобы она произошла; хотя он предполагал, что он может делать все, что хочет, и войны не будет, «не посмеют».

По возвращении из Америки и получении графского титула, ко мне приходила масса лиц меня поздравлять. С министрами я встречался только в комитете министров и совещаниях графа Сольского, но разговоров с ними, за исключением графа Ламсдорфа, о текущих делах не вел. С Треповым я два раза имел краткие разговоры, из которых усмотрел только то, что он, во что бы ни стало, желал удалиться. С графом Сольским я вел наедине беседы, он совсем ослабел, растерялся и только твердил: «Граф, вы только одни можете спасти положение»; когда же я ему сказал, что я хочу уехать на несколько месяцев за границу, то он разрыдался и, плача, сказал: «Ну, уезжайте, а мы погибнем».

Такое состояние этого, несомненно, хорошего, умного и благородного человека, конечно, в значительной степени объяснялось его болезненным состоянием. Затем, я говорил с некоторыми лицами, которые играли значительную роль в последних событиях, и содержание этих разговоров будет не излишне привести для характеристики положения вещей до 17 октября.



По моей инициативе я виделся два раза с генералом, недавно вышедшим в отставку, Кузьминым-Караваевым, воспитанником пажеского корпуса и затем военно-юридической академии, бывшим ординарным профессором уголовного права в юридической академии, публицистом, потомственным дворянином, небольшим землевладельцем и известным в то время земским деятелем Тверской губернии.

Он принимал участие в съездах земских и городских деятелей, был известен в то время как либерал, был затем членом первой и второй Думы, к партии кадет не принадлежал, находя ее крайней, а числился в самой малочисленной партии демократических реформ. Я привел этот краткий формуляр Кузьмина-Караваева для того, чтобы читатель видел, что это лицо не из сан-кюлотов, не революционер, а человек с образованием, знакомый с местною жизнью.

Независимо от сего, он в своей жизни не совершил ничего, что бы давало повод его упрекать в какой-нибудь бесчестной некорректности. Я просил Кузьмина-Караваева мне откровенно высказать свое суждение о положении вещей. Он мне высказал во всех подробностях свое мнение, что единственный выход, это—переход к конституционному режиму, хотя уже эта мера опоздала и потому будет связана с различными эксцессами. Я попросил его свое мнение изложить письменно, и он мне через два дня принес краткую записку, в которой были резюмированы те мысли, которые он высказывал.

Я также имел разговор с Меньшиковым, талантливым публицистом «Нового Времени», теперь он проводит ярким образом идеи самые реакционные, но в то время он так же убежденно, как ныне, доказывал мне, что единственный выход, это—перемена режима управления от неограниченного к конституционному. Я тоже попросил его резюмировать свои мысли на бумаге. Он мне принес проект манифеста и конституционных начал, которые шли несравненно далее, что было сделано 17 октября и всеми последующими узаконениями. К сожалению, я до сих пор не мог найти этот документ, который служит образцом того, как люди под влиянием событий меняют свои мнения и как вследствие 17-го октября люди поправили, при чем многие в своем поправлении дошли до геркулесовых столбов.

После Портсмутского мира или, вернее, после позорнейшей и бездарнейшей войны, почти не было правых или если они были, то втихомолку, в скрытом состоянии. 17 октября разбудило Россию, заставило многих опомниться, образовало партии, и воскрес угасший дух. Люди увидели, что скачки в области государственного устройства ведут к пропасти, заговорил патриотизм



и особенно чувство о благополучии своем и своих ближних—чувство личной «собственности», которое, к сожалению, было вытравляемо в нашем крестьянстве, и русская телега начала волочить оглобли направо. Дай только бог, чтобы это не свалило телегу, стремительно несшуюся в левую пропасть, в правое болото и чтобы она не завязла там в тине...

Тогда же у меня был князь Мещерский—редактор-издатель «Гражданина», десятки лет живущий на правительственные крупные субсидии и считающий своим неотъемлемым правом получать таковые, человек безнравственный, низкопоклонный там, где нужно или можно что-либо схватить, и надменный с лицами, которые ему не нужны. Князь был очень сумрачен и высказал свое «убеждение», что ныне нет другого исхода, как дать конституцию. Затем, после 17 октября, когда гроза революции прошла, он начал громить новые законы и теперь опять затянул старую песнь. Благо ему за это платят.

В то время у меня также был несколько раз П. И. Дурново, бывший в моем министерстве министром внутренних дел. Он мне говорил, что главная причина происходящего развала заключается в Трепове, и что если Трепов не уйдет, то мы доживем до величайших ужасов. Вместе с тем, по существу он находил, что единственный выход из созданного положения вещей заключается в широких либеральных преобразованиях и в уничтожении исключительных положений. Дурново был товарищем министра внутренних дел Булыгина и состоял товарищем трех его предшественников князя Мирского, Плеве и Сипягина, был ранее директором департамента полиции, а потому, конечно, его мнение имело некоторое значение.

Из всех лиц, которых я видел со дня моего возвращения в Петербург из Америки до октябрьских дней, я слышал против общего течения мнение только одного лица—А. П. Никольского, будущего впоследствии в моем министерстве министром земледелия. Он мне говорил, что вся беда в прессе, и что для того, чтобы облагоразумить революционное движение, нужно прежде всего беспощадно шлепнуть газеты. Сам А. П. Никольский был в течение 30 лет постоянным сотрудником «Нового Времени», и потому этот его отзыв меня несколько удивил, тем более еще, что в то время «Новое Время» уже было в «союзе печати» и пользовалось «захватным правом», а главный его сотрудник Меншиков мне, как сказано выше, представил проект конституционного манифеста, так как только в конституции он видел спасение.

Итак, к концу сентября месяца 1905 г. революция уже совсем, если можно так выразиться, вошла в свои права—права захватные. Она произошла оттого, что правительство долгое время игнорировало потребности населения, а затем, когда увидело, что смута выходит из своих щелей наружу, вздумало усилить свой престиж и свою силу «маленькой победоносной войной» (выражение Плеве). Таким образом правительство втянуло Россию в ужасную, самую большую, которую она когда-либо вела, войну. Война оказалась для России позорной во всех отношениях, и режим, под которым жила Россия, оказался совсем несостоятельным—гнилым. Все смутились, и затем—добрая половина русских людей спятила с ума... Явился вопрос, что же делать?... Вопрос этот был резко поставлен заревом революционного пожара. С первых чисел октября 1905 г. в силу самых событий пришли к необходимости его решить и с 6-го в десять дней доказались до великого и знаменательного акта—манифеста 17 октября.

Каким образом это произошло, я буду излагать во второй части моих записок, которую начну писать, возвратясь в Россию\*